

Посвящается моей семье

Пролог

Париж

Они, должно быть, уже хватились меня.

Я останавливаюсь на гранитной ступени музея, потянувшись к перилам, чтобы удержать равновесие. Мое левое бедро пронзает боль — она острее, чем когда-либо, — прошлогодний перелом прошел не до конца. В сумерках над Авеню Уинстона Черчилля за силуэтом стеклянного купола Большого дворца розовеет мартовское небо.

Я осматриваю арку входа в Малый дворец. На массивных каменных колоннах на высоте второго этажа висит красная перетяжка: «Deux Cents ans de Magie du Cirque»¹. Она украшена гирляндой из слонов, тигра и клоуна, хотя в моих воспоминаниях цвета на этой гирлянде были гораздо ярче.

Надо было сказать, что я буду здесь. Хотя тогда они просто попытались бы остановить меня. Мой побег — я планировала его на протяжении нескольких месяцев с тех пор, как прочла про выставку в «Таймс», — был тщательно продуман: я дала взятку сиделке в доме престарелых, чтобы она переслала мою фотографию в паспортный стол, оплатила билет на самолет наличными.

¹ «Двести лет магии цирка».

Меня едва не поймали, когда такси, которое я вызвала, остановилось перед зданием в предрассветной темноте и громко посигнало. К счастью, охранник на входе так и не проснулся.

Собравшись с силами, я продолжила карабкаться наверх, один болезненный шаг за другим. Внутри, в холле, церемония открытия уже в самом разгаре: мужчины в смокингах и женщины в вечерних платьях собрались под затейливо разрисованным куполом. Французская речь струится вокруг как давно забытый аромат духов, который я жадно вдыхаю. Всплывают знакомые слова, сначала понемногу, потом поток становится все шире, хотя я не слышала их уже полвека.

Я не останавливаюсь на ресепшене: здесь никто не ожидал моего приезда. Вместо этого, уворачиваясь от официантов с закусками и шампанским, я иду мимо украшенных фресками стен по мозаичному полу прямо к выставке про цирк, вход на которую также отмечен перетяжкой, похожей на ту снаружи, только меньшей по размеру. Здесь есть фотографии, они увеличены и висят на леске столь тонкой, что ее практически не видно: глотатель шпага, гарцующие лошади и еще больше клоунов. Список имен на табличках под изображениями звучит точно песня: Лорх, Д'Оньи, Нойхофф — великие европейские династии цирковых артистов, уничтоженные войной и временем. На последних фамилиях у меня защипало в глазах.

Высоко над фотографиями висит длинная потрепанная афиша: женщина, изображенная на ней, висит в воздухе на шелковых канатах под руками и загибает ногу назад в арабеске¹. Ее юное лицо и тело мне кажутся

¹ Основная балетная поза, при которой одна нога высоко поднята вверх.

смутно знакомыми. В голове начинает играть мелодия карусели, звук тихий, дребезжащий, как из музыкальной шкатулки. Я чувствую жар прожекторов, которые ищут меня, столь горячий, что, кажется, вот-вот спалит мне кожу. Посреди выставки висит трапеция, закрепленная как будто в полете. Даже сейчас ноги — хотя им уже почти девяносто лет — тянут меня к ней.

Но для воспоминаний нет времени. На то, чтобы добраться сюда, ушло больше времени, чем я предполагала — как и со всеми занятиями в моем возрасте, — и теперь нельзя терять ни минуты. Проглотив ком в горле, я иду вперед, проходя мимо костюмов и головных уборов — артефактов исчезнувшей цивилизации. Наконец я добралась до вагончика. Часть боковых панелей убрали, чтобы открыть вид на маленькие койки внутри, близко расположенные друг к другу. Я обескуражена размером вагончика, он меньше половины моей комнаты в доме престарелых. Раньше он казался мне гораздо больше. Неужели мы действительно жили здесь по несколько месяцев кряду? Я протягиваю руку, чтобы дотронуться до подгнившего дерева. Я узнала его сразу же, как только увидела в газете, но где-то в глубине души очень боялась в это поверить, до сегодняшнего дня.

Голоса позади меня становятся громче. Я быстро оглядываюсь. Гостей в зоне ресепшена становится слишком много, и они постепенно приближаются к выставке. Еще пара минут — и будет слишком поздно.

Я еще раз оглядываюсь, затем нагибаюсь, пролезая под ограждение. «Прячься», — говорит мне внутренний голос, инстинкты, спящие глубоко во мне, снова просыпаются. Я провожу рукой по днищу вагончика. На дне есть небольшое отделение, там, где я и ожидала его найти. Дверцу заклинило, как бывало и раньше, но

если я немного надавлю... Она распахивается, и я представляю, какой прилив воодушевления чувствовала юная девушка, надеясь обнаружить там наскоро написанное письмо, приглашение на тайное свидание.

Просовываю руку внутрь, однако пальцы натываются на холодную темную пустоту. Ящик пуст, и моя надежда на то, что в нем могли быть ответы на мои вопросы, рассеивается, как утренний туман.

Глава I

Ноа

Германия, 1944 год

Низкий звук напоминает мне гудение пчел, которые однажды преследовали папу по всей ферме, после чего он провел в бинтах целую неделю.

Я откладываю щетку, которой терла пол. Некогда изысканный мрамор теперь потрескался под каблучками ботинок и покрылся тонкими полосами грязи и золы, которые не ототрутсЯ никогда. Прислушиваясь к звуку, я прохожу станцию под вывеской, на которой черным жирным шрифтом написано: «Вокзал Бенсхайм». Громко сказано, учитывая, что это всего лишь зал ожидания с двумя туалетами, билетной кассой и палаткой с колбасками, которая открывается, когда привозят мясо и погода не слишком плохая. Я наклоняюсь, чтобы поднять монетку около ножки одной из лавок, и кладу ее к себе в карман. Удивительно, какие только вещи люди не теряют или забывают на железнодорожной станции.

Снаружи на февральском ночном воздухе мое дыхание превращается в облачко пара. Небо покрыто пятнами цвета слоновой кости, предвещающими снегопад.

Станция расположена в низкой части долины, с трех сторон окружена холмами с густо растущими елями, их заостренные зеленые вершушки торчат над ветками, полностью покрытыми снегом. В воздухе немного пахнет гарью. До войны Бенсхайм был просто очередной маленькой точкой на карте, которую путешественники проезжали, не замечая. Но немцы, кажется, из всего могут извлечь выгоду, и это место оказалось удобной точкой для того, чтобы оставлять здесь поезда, выключая двигатели на ночь.

Я здесь почти четыре месяца. Осенью было не так уж плохо, я была счастлива, что мне удалось найти убежище, после того как меня отправили восвояси, дав еды на два дня (или на три, если растянуть). Женский приют, где я жила после того, как мои родители узнали, что я жду ребенка и выставили меня из дома, был равноудален от всех мест: они могли бы довезти меня до Майна или хотя бы до ближайшего города. Однако мне просто открыли дверь: иди, мол, на все четыре стороны. Я пошла к железнодорожной станции, еще не успев осознать, что мне некуда идти. В течение многих месяцев вне дома я не раз задумывалась о том, чтобы вернуться, молить о прощении. Я не была слишком гордой, нет. Я бы встала на колени, если бы думала, что это хоть чем-то поможет. Но вспоминая ярость в глазах моего отца в день, когда он выгнал меня, я знала, что его сердце для меня закрыто. Я не переживу второго отказа.

Впрочем, в один момент мне повезло: оказалось, что станции требуется уборщица. Я оглядываюсь на угол здания, на вход в комнатуху, где я сплю на матрасе на полу. На мне все то же платье для беременных, в котором я покинула дом, разве что перед у него теперь вяло обвис. Конечно, так будет не всегда. Я найду настоя-

щую работу — ту, на которой платят чем-то посерьезнее плесневелого хлеба, — и нормальный дом.

Я легко могу представить себя в окошке билетной кассы. Моя внешность подойдет туда идеально: волосы цвета помоев, которые выцветают летом, бледно-голубые глаза. Когда-то моя бесцветность меня огорчала, но сейчас это преимущество. Два других сотрудника станции, кассирша и мужчина, работающий в палатке, приходят и уходят домой каждый вечер, почти не разговаривая со мной. Проезжающие проходят станцию со свежим выпуском «Der Stürmer»¹, зажатым под мышкой, втапывая в пол окурки, ничуть не интересуясь тем, кто я и откуда. Одиноко, но именно это мне и нужно. Я не готова отвечать на вопросы о прошлом.

Нет, они не замечают меня. Я же вижу их хорошо: солдат в увольнении, матерей и жен, которые приходят каждый день, оглядывая перрон в надежде увидеть сына или мужа, после чего уходят в одиночестве. А еще всегда легко определить тех, кто хочет сбежать. Они пытаются выглядеть как обычно, как будто они отправляются на отдых. Но их одежда сидит на них слишком плотно из-за многих слоев, поддетых под нее, а их сумки так набиты, что, кажется, взорвутся в любую секунду. Они не смотрят никому в глаза, но подгоняют детей, чтобы шли быстрее, а лица у них бледные и вытянутые.

Гул становится громче и выше. Он исходит от поезда, я слышала скрип его тормозов некоторое время назад, теперь же он стоит на дальних путях. Я иду к нему, мимо почти опустевших угольных складов: большую часть

¹ «Der Stürmer» (дословно — Штурмовик) — еженедельник, выходивший в Веймарской республике и нацистской Германии с 1923 по 1945 год (с перерывами).

угля забрали для войск на востоке. Возможно, кто-то оставил включенным двигатель или какое-то другое оборудование. Я не хочу, чтобы в этом обвинили меня, не хочу потерять работу. Несмотря на свое незавидное положение, я понимаю, что может быть хуже и что мне очень повезло попасть сюда.

Повезло. Впервые я услышала это слово от пожилой немки, которая поделилась со мной кусочком сельди, когда я ехала на автобусе до Гааги после того, как ушла от родителей. «Ты — настоящая арийка», — сказала мне она, причмокивая рыбными губами, пока автобус петлял по дороге, полной поворотов и ям.

Я подумала, что она шутит: у меня волосы скучного светлого цвета, нос кнопкой. Тело мое, жилистое и спортивное, только недавно стало смягчаться и округляться. Если не считать того краткого момента, когда тот немец шептал мне на ухо нежные слова по ночам, я всегда считала себя ничем не примечательной. А тут мне вдруг говорили, что я — самое то. Сама не знаю как, но я рассказала женщине о своей беременности и о том, как меня выставили из дома. Она посоветовала мне поехать в Висбаден и написала для меня записку, в которой было сказано, что я вынашиваю дитя Рейха. Я взяла записку и отправилась туда. Мне тогда и в голову не пришло, что ехать в Германию сейчас опасно, что мне лучше отказаться от этой идеи. Хоть кому-то мой ребенок был нужен. Мои родители скорее бы умерли, чем приняли помощь от немцев. Но женщина сказала, что они дадут мне кров: значит, не так уж они и плохи? Мне было некуда идти.

«Тебе повезло», — сказали мне снова, когда я приехала в женский приют. Я родом из Голландии, но меня считали арийкой, и мой ребенок — который в любом другом случае считался бы незаконнорожденным, за-

чатым вне брака — мог быть принят в программу «Лебенсборн»¹ и воспитан в хорошей немецкой семье. Я провела здесь почти шесть месяцев, читая книги, помогая с работой по дому, пока мой живот не стал слишком громоздким. Место, где мы жили, было пусть и не слишком большим, но современным и чистым, созданным специально для того, чтобы поставлять Рейху здоровых детей. Я познакомилась с Евой, крепкой девушкой, чей срок был на пару месяцев больше моего, но однажды ночью она проснулась в крови, ее отвезли в больницу, и я больше никогда ее не видела. После этого я старалась держаться одна. Никто из нас не пробыл здесь долго.

Мое время пришло в одно холодное октябрьское утро, я встала из-за стола, где завтракала в женском общежитии, и у меня отошли воды. Следующие восемнадцать часов были смутным туманом жуткой боли, перемежающимся звуками указаний, без какой-либо поддержки или доброго слова. Наконец, появился ребенок, он закричал, и все мое тело содрогнулось от пуготы, машина отработала свое. По лицу медсестры скользнула странная тень.

— Что такое? — спросила я. Мне не полагалось видеть ребенка. Но я поборола боль и села. — Что-то не так?

— Все хорошо, — заверил меня доктор. — Ребенок здоров. — Однако голос у него был взволнованный, а мрачное лицо с толстыми линзами очков склонилось над складками кремовых пеленок. Я потянулась вперед

¹ «Источник жизни», организация в нацистской Германии, которая помогала матерям-одиночкам воспитывать детей, организовывала приюты. Условием участия в программе была принадлежность обоих родителей к арийской расе.